И. Ю. ФОМЕНКО

«МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ МОИ РАССУЖДЕНИЯ» Ф. И. КОЛОКОЛОВА

Одной из магистральных тем литературы русского реализма была тема маленького человека, а одной из характерных модификаций этой темы была повесть о бедном и «нечиновном» чиновнике. Традицию формируют такие шедевры русской классики, как «Медный Всадник» А. С. Пушкина, «Шинель» и «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя, «Бедные люди» и «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского.

Фигура бедного, но глубоко чувствующего юноши-чиновника возникает в русской литературе в конце XVIII в. Особую роль в формировании этого образа сыграл цикл повестей о «российском Вертере», написанных под непосредственным влиянием романа И. В. Гете «Страдания юного Вертера».[1] Однако в рамках поэтики сентиментальной повести социальная среда, как правило, давалась достаточно условно. Только литературе реализма удалось выделить и описать бедного чиновника как особый социально-психологический тип, исследовать и описать ту среду, которая его породила.

Дневник Ф. И. Колоколова, провинциального почтмейстера Павловской эпохи, озаглавленный им «В Твери. Меланхолические домашние мои рассуждения во время скуки», показывает, что человеческий документ способен опередить художественную литературу в постановке ключевых тем и проблем. Рукопись хранится в фонде Научно-исследовательского отдела рукописей

---

[1] Эта традиция подробно исследована В. М. Жирмунским в: «Гете в русской литературе» (Л., 1981); см. также: *Фоменко И. Ю.* Набросок М. Н. Муравьева «Анекдот» в ряду повестей о «Российском Вертере» // Михаил Муравьев и его время : Сб. статей и мат-лов Второй Всероссийской науч.-практ. конф. Казань, 2010. С. 3—6.

© И. Ю. Фоменко, 2013

Российской государственной библиотеки (ОР РГБ).[2] Она датируется концом XVIII в., годами царствования императора Павла I, который упомянут в одной из записей как царствующий император. Датировка подтверждается записью: «Сие рассуждение написано по получении самого первого известия о кончине главного директора почт Александра Андреевича Безбородко» (А. А. Безбородко умер 1 апреля 1799 г.).

Рукопись не является дневником в узком смысле слова. Это сборник, насчитывающий 33 прозаических этюда. Заполнив тетрадь, Колоколов находит на одной из первых страниц место для оглавления: «Канцелярия», «Скука», «Осень», «Свеча» (в этом этюде автор уподобляет себя и свои писания колеблющемуся пламени свечи) и другие, а на последней странице проставляет «Конец первой части». Правда, на предыдущей странице он написал просто «Конец» (Л. 65 об.—66).

Автор дневника получил образование в Тверской семинарии. Он хорошо знает латынь, разбирается в литературе сентиментализма и преромантизма и не чужд литературных амбиций. В одной из записей упомянут Э. Юнг, которого автор читает перед сном: «Почитаю любимую свою книжку: Юнговы Ночи. Глаза мои слипаются, — погашу свечку, усну. — Как усну, то увижу во сне <....> весел ли или печален я встану и встану ли еще. Кто мне ручается в том. Сон образ смерти».

Выбор Юнга для вечернего чтения — свидетельство популярности литературы преромантизма в самых широких читательских кругах России. Настроения автора, само то, что он дважды называет свои записи «Меланхолическими рассуждениями», тоже свидетельствует о знакомстве с модными новинками европейской литературы. Избранная Колоколовым для своих записей форма прозаического этюда, эссе также была особенно популярна в литературе сентиментализма и преромантизма. Запись «Страшный суд», в которой возникает образ «огнеобразных шаров» (Л. 18), — свидетельство его интереса к космизму и поэтике ужасного (эти темы тогда только начинали осваиваться русской литературой, в первую очередь С. С. Бобровым).

Записи Колоколова позволяют восстановить основные моменты его биографии, достаточно типичной для русского чиновника конца XVIII в. Он родился в селе, называемом Дубенское устье, «где Дубня река впадает в Волгу», около 1760 г. (в одной из записей он упоминает, что ему недавно исполнилось 40 лет), в небогатой семье, скорее всего, священника. Семья была многодетной:

---

[2] ОР РГБ. М. 19852. Поступила от Т. Н. Волковой в 1947 г. № 14. В дальнейшем цитаты из рукописи даются в тексте с обозначением листа.

«Четыре брата родные учитель Иван Колоколов, Тверской семинарии философии, студент Федор Колоколов, Тверского уездного училища ученик высшего класса Петр Колоколов и низшего класса ученик Дмитрий Колоколов» (Л. 33 об.). Запись, открывающая дневник, обращена к «братцу», священнику Алексею Ивановичу Колоколову (Л. 2).[3] Один из младших братьев Ф. И. Колоколова, видимо Дмитрий, «ученик Ескулапа», в последние годы XVIII в. — лекарь в суворовских полках, участник швейцарского похода Суворова (Л. 29).

Если верить дневниковым записям, во время учебы в Тверской семинарии Ф. И. Колоколов проявлял незаурядные способности, единственный из 37 студентов уже «на 19 году» преподавал латынь (Л. 56). По окончании учебы, в 1779 г., Ф. И. Колоколов преподавал в Новгородской семинарии, где, согласно его смутным намекам, впервые пострадал за свой характер: «Все настоящие и прошедшие злоключения мои последовали от неопытности моей в жизни человеческой, последовали от перемены в Новегороде состояния моего. Всегда я жалел и буду жалеть завсегда, что я в то время не имел в себе духа Еразма Роттердамского» (Л. 50).

В последние годы XVIII в. Колоколов служил в Твери почтмейстером в чине губернского секретаря. Скончался он в 1808 г. в Зарайске: «Сочинитель и маратель сих рассуждений Федор Иванович г-н Колоколов преставился 1808-го года декабря 5 дня в городе Зарайске. Коему да будет вечная память» (Л. 43 об.). И хотя близкие родственники отнеслись к писаниям Колоколова без особого пиетета («сочинитель и маратель»), однако тетрадь не выбросили, она пережила революции и войны, а вскоре после Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. была сдана в ОР РГБ, где ныне и хранится.[4]

Самые яркие из записей Ф. И. Колоколова посвящены изображению канцелярии, в которой он служит в момент создания «Меланхолических рассуждений». Канцелярия обрисована с необыкновенной выразительностью, причем некоторые из записей исполнены определенного довольства собою и своим положением, которое позволяет ему жить в относительном достатке, ничего не делая: «Вот и теперь, под преклонность уже

---

[3] На л. 43 об. есть запись: Села Кимры благочинный священник Алексей Иванович преставился 1800 году декабря 1 го в первом часу пополудни <*нрзб.*> 46 лет и девяти месяцев. Коему да будет вечная память.

[4] Документ упомянут в статье: *Кудрявцев И. М., Ошанина Е. Н., Швабе Н. К.* Обзор новых поступлений. Рукописи, поступившие в 1941—1947 гг. // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1950. Вып. 11. С. 100. Фамилия, однако, была прочитана неточно: «Колокольников».

дней своих, сижу я в присутствии и ничего не делаю. Сие по-видимому значит, что я времени неприятель. <….> За то только я и беру жалованье, что ничего не делаю, что время понапрасну трачу. — Мне же легче. — А жалованье мне в год, при казенной квартире, четыре ста рублей. Слава Богу, изрядный кусок хлеба» (Л. 38 об.).

Однако у Колоколова возникают проблемы по службе. Вследствие интриг некоего «злодея и ядовитого крючкодея» его обходят местом, которое, по его убеждению, он был достоин занять. Возмущение и оскорбленное самолюбие Колоколов изливает в записях «Бедный я секретарь» и «Не гожусь я секретарем быть, вот что говорят обо мне». Обе записи продолжают сатирические традиции русской литературы XVIII в., в которых чиновники предстают в обличье «ябед», «крючкотворов». Колоколов ярко рисует быт чиновников, порожденную им особую социальную психологию. Канцелярия предстает под его пером как особый, неправильный, неестественный мир, в котором царят зависть и некомпетентность, а «дарования» могут только повредить: «Везде дарования мои были во уважение, кроме только здешнего места. В здешнем месте вот что говорят обо мне: не гожусь я быть секретарем. — Почему же так, я сам себя спрашиваю?» (Л. 56 об.).

В этих записях звучат фантасмагорические мотивы, характерные в дальнейшем для описаний канцелярии от Гоголя до Достоевского: «А если *<1 сл. нрзб.>* какая-нибудь белобокая сорока, которая, ухвативши носящемо бурею перо на воздухе и приделавши его на кохти свои, умела влететь в открытое окно, сесть на стуле и за красное сукно? и сим самым пером не законы подставляет, но бумагу секретарскую только гадит и марает. <….> Какой хаос! Какое явление! Какое превращение! <…> Сороки, галки, *<1 сл. нрзб.>*, хамелеоны, слоны, тюлени и пиявицы <…> правят перами, закрепляют листы, дуют, *<1 сл. нрзб.>*, пыхтят, кряхтят, ломаются, коверкаются, зевают *<1 сл. нрзб.>* и потягиваются с утра от *<1 сл. нрзб.>* ночного кавардака, вовсе на тот час забыв на столе крючкотворное свое перо! О, *<1 сл. нрзб.>* одни крылатые да четвероногие, крылатые да четвероногие. Так вот почему и не гожусь-то я секретарем-то быть!» (Л. 57).

Разумеется, оставшаяся неизвестной широким читателям рукопись Колоколова не оказала прямого воздействия на литературный процесс. Однако, как предельно точно сформулировал А. В. Чичерин в статье «Ранние предшественники Достоевского»: «…все подлинно великое накопляется и создается усилиями многих поколений, усилиями многих мыслящих и чувствующих людей. Известные нам художественные произведения разных

эпох — только вспышки вырывающегося наружу, но вечно живого огня».[5] Этот «живой огонь» очевиден в цитируемых записях.

Приводимые ниже записи позволяют, кроме того, утверждать, что автор «Меланхолических рассуждений» Ф. И. Колоколов и «Фдр Клклв», «переложивший прозою в Твери» «Избраннейшия печальныя елегии Овидия», — одно и то же лицо.[6] Перевод был опубликован в 1796 г. в Смоленске,

В пользу этой гипотезы говорит не только совпадение времени и места. Важно и то, что перевод прозаический — Ф. И. Колоколов стихи не писал: «Я подлинно не стихоткач» (Л. 56). Видимо, не случайно, описывая канцелярию, Колоколов апеллирует к таланту Овидия: «Назон! Оставь мрачные свои тени, приди к нам, посмотри на нас, очини свое перо» (Л. 57 об.).

Мотивы социальной несправедливости, обиды, зависти с равной силой звучат и в переводе Овидия, особенно в предваряющем его обращении переводчика к читателю, и в рукописных «Меланхолических рассуждениях». Переводчик сообщает: «Цель моя, с которою я в досужее время упражнялся в преложении печальных Назоновых елегиев прозою, была единственно домашняя утеха моя в злосчастной некоей доле моей. Подлинно, яд скуки, разлившийся коварною рукою по всем членам моим, расторг спокойные движения сердца моего; но острие ума сего сладчайшего стихотворца, пылкий оборот его мыслей <....> и самые печальные ощущения его, по многим видам сообразные чувствования моим, наполнили дух мой чистым и несмущенным веселием».[7] А вот как звучит Овидий в переводе русского чиновника: «Что я ныне нахожусь под гневом вашего величества: все сие я приписую единым только стихам моим. — И се, за все мои ученые труды, за все песнопения мои, которые с великим тщанием старался я писать; и се в награду получил одно только наказание».[8] И далее: «Ежели же и сие самое, то есть что я пожалован от вашего величества кавалером, ни мало не служит к доказательству непорочности моей, и ежели все мои добродетели остаются без всякого награждения, так, по крайней мере, я то почитаю за великое удовольствие себе, что вы меня не заметили ни во едином преступлении моем».[9]

Очевидно полное совпадение характерных особенностей индивидуального стиля Ф. И. Колоколова и «Фдра Клклва», однако

---

[5] *Чичерин А. В.* Ритм образа. М., 1973. С. 138.

[6] См.: Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 2 : (К—П). СПб., 1999. С. 105—106.

[7] Публия Овидия Назона Избраннейшия печальныя елегии. Преложены прозою в Твери Фдрм Клквм. Смоленск, 1796. С. 4.

[8] Там же.

[9] Там же. С. 13.

прямые документальные свидетельства в пользу этой гипотезы в настоящее время не обнаружены. Возможно, в архивах Северо-Запада России, особенно Новгорода и Твери, еще будут выявлены материалы о Федоре Колоколове и его семье.

В любом случае смоленское издание элегий Овидия остается одной из первых и очень любопытной попыткой создания «русского Овидия»,[10] а «Меланхолические рассуждения» — удивительным человеческим документом, приоткрывающим окно в своеобразный мир русской провинции. Судьба Ф. И. Колоколова, человека, безусловно не лишенного дарований, безусловно не блещущего здоровьем и психически неуравновешенного, наводит на печальные мысли. С другой стороны, материалы, относящиеся к его жизни и творчеству, не только позволяют лучше понять многие социально-бытовые реалии конца XVIII в., но по-новому высвечивают классические тексты русской литературы XIX в.

Ф. И. КОЛОКОЛОВ

[ИЗ «МЕЛАНХОЛИЧЕСКИХ ДОМАШНИХ МОИХ РАССУЖДЕНИЙ»]

(Письмо к брату, священнику Алексею Ивановичу Колоколову)

Пречестивый отец иерей и любезный братец Алексей Иванович! Посылаю вам сочинения мои, под названием «Случайные меланхолические рассуждения». — Они писаны мною во время скуки и в свободные часы при должности моей, на разные мыслям и глазам моим встречающиеся предметы. Что бы я ни писал, то все писал для себя, для пользы своей. Я нимало не думал блистать какими-нибудь дарованиями пред взором человеческим. Я их не имею. Хвалиться мне нечем. Довольно и без меня писателей. Я за ними не стремлюсь; я с ними не равняюсь. — Я сим пером моим разгонял одну только скуку, обличал досады, учил себя, хоть уже и поздно, как на свете жить и раскаиваться в весьма важных проступках моих. Вы сами увидите, что признания мои были искренни. *<1 сл. нрзб.>* Я желаю, чтоб вы, читая сии рассуждения мои и имея детей у себя, замечали в строчках все слабости

[10] *Черняев П. Н.* Следы знакомства русского общества с древне-классической литературой в век Екатерины II // Филологические записки. Воронеж, 1904. Вып. 5—6. С. 89—92.

мои. Я в них нимало не закрывался. Когда я прямо говорил о них, тогда чувствовал некоторое облегчение в совести моей. — Я теперь начинаю думать о последних шагах, приближающих меня к вечности. — Дай Бог, чтоб начинать ей <следовать?> в душе моей. Прощайте. Ваш и прочее Федор Колоколов (Л. 2—2 об.).

Канцелярия [фрагмент]

Писал, писал, да и устал — отдохну, отдохну. Еще перо попытаю, хорошо ли оно марает. — Не нравится, — выну ножик, счищу его. Ножик от долговременного употребления притупился, не таковы ли уже и чувства мои становятся. Однако приложу его поперек — не режет. Полно, — брошу писать, не стану горевать. Час с полудени бил, а я сижу в приказе с седьмого часа. Пойду обедать. У меня хоть небогатый стол, но нужды ни в чем не имею. О приятных соусах не помышляю. Не оставлю вотчины и богатства купцам. Отобедал; лягу спать. — уснул — встал. Пойду прогуляюсь, разовью кручину свою по воздуху, с чистого воздуха опять пойду к перу; им почерчу. Был, сидел, чертил; вот <с четырех и девять уже с половиною часов?>. Брошу шляпу на голову, перчатки суну на пальцы, побегу домой ужинать. — Разделся, есть не хочется. Причиною тому иль нети мои, от которых желудок мой расстроился, или жизнь сидячая, заразившая гнилостию физические соки мои. — Без ужина лягу на постелю. По той привычке, как бывало привык учивал и уроки мои, засвечу я и теперь свечку. Почитаю любимую свою книжку: Юнговы Ночи. Глаза мои слипаются, — погашу свечку, усну. — Как усну, то увижу во сне, который час меня пробудит, весел ли я, печален ли я встану, и встану ли еще. Кто мне ручается в том. Сон образ смерти. Сколько раз засыпаю, столько раз и умираю. Сколько подобных мне людей сон сей обманул. Между собою *<1 сл. нрзб.>* сон и смерть (Л. 3).

Портрет брата моего [фрагмент]

Я первый плод чрева матери моей, а брат мой сей, которого приятными оттенками я всегда любуюсь, есть последний. Он был учеником Ескулапа, оказал довольные успехи в науке своей. По надлежащем испытании в знаниях его, до медицины относящихся, сделался он лекарем, и отправлен сего ЧЗ <96> года в непобедимые суворовские полки, стоявшие за несколько прежде сего в Вене. Ныне слежу, что брат, следуя путем сего Российского

Архистратига, сего нового Цезаря, наполняющего всю Европу как удивлением и славою, так страхом и ужасом, находится уже теперь в Швейцарии. Наша родительница, сокрушаясь о разлуке своей с ним и в жизни его отчаиваясь, умножает болезни свои, обыкновенно с старостию сопряженные (Л. 29).

Бедный я секретарь

Давно уже я сам за собой замечал, что я родился под несчастною звездой. Неоспоримы мнения тех философов, которые утверждают, что планеты имеют влияния на физические наши тела. Когда на дворе ветер, дождь, град, буря, слякоть, снег и вьюга, то я, в задумчивости сидя у своего окошка, любуюсь внутренно сими для других скучными, а для меня приятными воздушными переменами. Сии ощущения мои в замечаниях моих весьма важны. Я имею с ними симпатию, или природное дружество. Я догадываюсь, что, конечно, телосложение, вся кровь моя, все кости и жилы мои и самые жизненные соки мои сходны в оборотах и составах своих с сими естественными превращениями; потому-то и милы они мне. И подлинно, счастье мне весьма мало и <иногда> когда в жизни моей мелькало. Сие я многими уже опытами дознал. Не успею вить только рассмотреть приятные уловки его, как вдруг и скрывается оно от меня. Имел я честь наслаждаться благодеяниями великих людей, но благодетели сии или по превратности собственной судьбы моей, или по злосчастной доле самих покровителей моих, были весьма непродолжительны. Они все, по разным обстоятельствам, то пали от славы своей недоброжелательством человеческим, то невидимо увяли под неумолимою смерти косою. — Однако при всем том укреплял я себя всегда философскими наставлениями. Когда счастье освещало меня златоблестящими крылами <своими>, не вверял я себя сему ложному очарованию его <мне?>. Когда гнала меня немилосердная судьба, не опрокидывал я духа моего. Никогда ничего не боялся, не страшился, не трепетал; потому что в жизни моей привык к утратам.

Был много раз и счастливым, и несчастливым я человеком. Надо мною все то совершилось, что должен видеть и чувствовать человек, идучи дорогою ко гробу своему. Вот и теперь, под преклонность уже дней своих, сижу я в присутствии и ничего не делаю. Сие, по-видимому, значит, что я времени неприятель. Если не сидеть, если ничего не делать, так не будет мне жалованья. За то только и беру жалованье, что ничего не делаю, что время понапрасну трачу. — Мне же легче. — А жалованье мне в год,

при казенной квартире, четыре ста рублей. Слава Богу, изрядный кусок хлеба. — Но такие люди, каков я, водятся не в одном только приказе моем. Есть множество их и в других местах, которые только и знают, что берут жалованье, а пером чертить или вовсе не умеют, или ленятся, или другими посторонними должностями занимаются. Однако не сам я от себя ничего не делаю. Я расположен к трудам и люблю всегда трудиться. Один мой злодей и общий всем ядовитый крючкодей причиной тому. Он, тайно скрежеща зубами своими на какие-либо дарования мои и, страшась, дабы я не заступил гордого места его и не помрачил мнимой только славы его, отторг меня разными ухищрениями своими, единственно из зависти проистекающими, от принадлежащей собственно мне секретарской должности. — Я принужден теперь <брать?> дела из-под рук чужих. Что-то и когда дают, то и должен делать.

Сколь несчастен тот, которому собственные дарования служат в пагубу!.. Не дарования мои пагубны для меня, но зависть, сии дарования мои терзающая. Она-то приводит меня к огорчению и к нередкому сожалению о обогащении меня сими бесценными небесными дарами. — К сожалению. —

Нет, нет, я сим прогневаю Бога, даровавшего мне их. Я паче благодарю его за неизреченную благость его ко мне. — Мне честь, когда не за пороки, но за дарования мои ненавидят и гонят меня. Мне похвала, когда завистники мои, хотя во внутренних своих изгибах сердца, но хорошо думают обо мне. Мне радость, когда занимаются они душою моею день и ночь. Мне великолепное торжество, когда они от каких-либо дарований моих заимствуя електрический огонь, освещают им исступленные свои умы. Нет беды мне в том, что я не умею ласкать, не умею притворяться, не умею обожать <рожденных счастием детей?>. Я не родился хамелеоном, но прямо человеком. Как должно понимать и чувствовать человеку, так я и живу, так я и поступаю. Я искренне люблю умных, уважаю честных и добрых людей, но гордецов, льстецов, лукавцев и ехидников, а при всем том еще и *<1 сл. нрзб.>* ненавижу, не терплю, бегаю и презираю. У меня с ними вечная и <неугасимая?> война. У меня с ними, по Писанию, око за око, зуб за зуб.

Так. — Конечно, для того-то оный враг мой, который побудил меня сие писать, и возненавидел меня, что я не низко нагибаю пред ним шею свою, что я, хотя мы чинами с ним и оба равны, не хожу к нему в мундире для поклонения в светлые и торжественные праздники, что я не наливаю пузыря его гремящим в ушах пунштом и не услаждаю гортани его со вкусом приправленными в славном Новгородском здесь трактире яствами и закусками.

Но будет ли сносно для меня ласкать и приветствовать какого-нибудь, на пр<имер>, извозчика, одетого в темно-зеленый Почтовый мундир? Можно ли без досады мне со лба забегать к тому поклонами и поздравлениями моими, который при многих других, и самых грубых, нелепостях пишет в высочайших по команде отношениях иногда вместо <потопление> воды подтопление воды и как, на пр<имер>, недавно он впопыхах своих размахнулся, расчеркнул в одном месте так: приказать лошадям сойти с таких-то почтовых станов? Я, сидя с ним за одним столом, право, внутренно всему тому смеялся, но обнаружить смеха своего боялся по ядовитости его. Если б не знал я поколения и рода его, непременно заключил бы, что он или форейторский, или борейторский есть сын, хорошо разумеющий язык животных сих и с ними, явно разумными тварями, всегда обращение свое имеющий. Итак, сего-то Приказателя лошадям буду я уважать, любить или вместе с ним *<1 сл. нрзб.>* дело иметь. Нет, не хочу я во зло употреблять те руки мои, которые к благотворению другим, а не для обнажения головы моей пред скотами сотворены. Не хочу я на лесть продавать язык мой, который дан мне на прославление Божиих чудес. Не хочу я треугольного сердца своего на все стороны кривить, когда должна во мне обитать одна только христианская простота. Не отдам души моей никому, кроме того, кто даровал мне ее.

Что мне до того, что я беден, а враг мой богат? Бедность не есть порок. Кто может совершенною бедностию сравниться с младенцем, который и наг, и голоден, и холоден рождается, однако никто его за сие не презирает. Бедность, можно сказать, есть учительница разума и верная наставница добродетели.

Часто под смрадным рубищем скрывается небесное сокровище. Часто под богатыми одеяниями гной, тина, тлен и прах земной таятся. Древние мудрецы, кроме ветхого плаща и посоха, ничего у себя не имели, а иной, <лишась> даже и покрова, защищающего его от воздушных перемен, жизнь свою проводил в бочке, согреваем одними только солнечными лучами. Что в том, что я беден, но в бедности своей спокоен.

Напрасно говорят, что бедность есть тягость для человека. Биант из объятого пламенем города своего Приены[1] хотя с голыми выходил руками, но с спокойным сердцем. Когда спросили его в то время, для чего он ничего с собою не несет, сказал он, что я все свое несу с собой, то есть мудрость и добродетель. Достойный мудрого философа ответ. Достоин быть изображен. *<2 сл. нрзб.>* Признаюсь я, что я люблю бедность. Она предохраняет

---

[1] Биант из Приенны — древнегреческий философ, один из семи мудрецов.

меня от роскоши, от невоздержания, от чванства, от злоречивых собеседований, от всяких неблагопристойных и срамных дел. — Пусть они хвалятся богатством своим, хвалятся умом, молодостью и красотой, а я буду превозноситься тем, что я беден, слабоумен, не умен, не пригож, не хорош. Что же делать. Не всем быть равными. Мне такой предел положен. Таким мне быть сам Бог судил, законы его неизменны. Я никогда, никогда и ни в чем не позавидую тебе, богач, тебе, честолюбец, тебе, гордец и льстец. Теки ты по усыпанным розами и лилеями стезям, а я останусь доволен долею своею, жребием своим, состоянием своим.

Non in foro soli, in foro poli.[2] <*конец фразы нрзб.*>
Губернский секретарь Федор Колоколов.

(Л. 38—39)

Неудача нового пера моего [фрагмент]

Замарав новое перо чернилами и держа его над бумагою, думаю, о чем бы мне писать. — Мысли мои летели бы на колкую какую-нибудь сатиру, но я стремлюсь их удерживать. Я боюсь врагов, которых у меня и без <*1 сл. нрзб.*> сей весьма много.

Да и на что без причины вооружать их на себя? Зачем умножать без нужды количество <их?>. От написанной мной сатиры никакой пользы мне не будет, кроме вреда. Она не утешит меня, она не преобразит наклончивые ко злу сердца, не исправит нравов человеческих. Славные римские сатирики Гораций, Ювенал и Тертий не исправили мир.

Французский почтенный Боало и российский остроумный князь Кантемир разительными творениями своими никакого не произвели действия ни в современниках, ни в читателях своих. Незнатность рода, которую многие из римских вельмож в укору Горацию вменяли, была ему почти славною причиною писать свои сатиры, в коих он наиболее всего доказывает, что прямое благородство человека состоит не в знатности и древности предков и не в великом достоинстве, но единственно в добродетели, которой знатные римские вельможи для безмерной роскоши весьма мало последовали. Но все его сатиры бесплодны были в сердце римлян.

Ювенал, заключив в пятойнадесять сатире своей описание египетских суеверий, сколько ни осмеивал египтян в многобожии, говоря:

---

[2] Не суд человеческий, а суд Божий (*лат.*).

О коль суть святы те пред прочими народы,
У коих полны все богами огороды,[3]

однако не достиг в желании своем конца. То же самое можно сказать и о последних оных трех сатириках, то, что они в исправлении нравов своего времени ни какой <силы> не имели. Злосчастные писатели сатир! Да и *<1 сл. нрзб.>* читатели их только что любуются едкими выражениями, нимало не прикладывя их к сердцу своему. Они только в них читают пороки других, не усматривая собственно своих. Они только там научаются *<1 сл. нрзб.>* бранить других, а не нравы свои поправлять. — О нет, не хочу я быть поводом к злословию, не хочу других *<1 сл. нрзб.>* и бранить, кроме самого себя. А я сам с собою управляюсь и без сатиры. И так не для чего мне писать сатиры.

Написал бы я, мне кажется, комедию под названием «Любимец фортуны», в которой изобразил бы тщетное упование на счастье, безумную гордость и величавость людей, и при самых малых или и никаких душевных дарованиях своих, восхождение их на степени честей и достоинств одною хитростию, лукавыми происками, лестию, обманом и разными пронырствами. Крайнее ослепление их ума и сердца и, наконец, с одной стороны, ужасное, а с другой, по человечеству, и жалкое падение их, мои сии черты не лучшую долю будут иметь, как и сатира моя. И так не для чего мне и за комедию приниматься.

Начал бы я еще, от досугов моих, как думается мне, какую-нибудь идиллию или эклогу, но нет во мне Сумарокова огня, которым не горел бы я в любви, но рыгал бы повсюду пламенем ее; нет во мне духа виргилиева, которым мог бы я оживотворить пастушескую песню свою. Я не смею, как они, возбуждать юную и прекрасную Ирину от сладчайшего того исступления, в котором покоит ее Морфей. Я не смею заставить ее погнать своих овечек в те же зеленые луга, где с приятным журчанием протекают чистые источники, или в те благорастворенные рощи и дубравы *<1 сл. нрзб.>*, где щебечет соловей, где раздается свист и шум всех птиц и где Мелибей,[4] опираясь на посох свой и пася также свои стада в лугах, тает весь от прихода ее, кидая алчный взор свой для встречи ее то туда то сюда, готовит для красавицы своей милый венок, собственными руками его из благовонных белых роз сплетенный, и стремится к поднесению пламенного поцелуя своего черным и круглым бровям ее, ее глазам, проницающим до самой глубины сердца его, бело-розовым ее ланитам,

---

[3] Цитата из Ювенала в переводе М. В. Ломоносова.

[4] Мелибей, персонаж Первой эклоги Вергилия.

ее нежным устам, и ее от пылких и частых вздохов возносящейся алебастровой груди. Хотел бы, говорю, изобразить все чувства сии, но иссохла уже во мне прозрачная Иппокренина струя. Погас во мне пламень пылающий некогда в крови моей. Я холодом теперь объят.

Коснулся бы я, по мнению моему, истории текущаго века сего, со всеми достопамятными происшествиями, но *<1 сл. нрзб.>* обстоятельства мои не позволяют мне сего.

Начертал бы я, как в мысли моей воображаю *<3 сл. нрзб.>* при верноподданнической моей любви, похвальное слово государю императору Павлу Первому, но и в красноречивой кисти сей потребен не кто другой, как Плиний, украсивший безсмертными похвалами Траяна своего, или воспел бы я дела его величества песнями. Но я не родился высокопарным стихотворцем, который целыми веками рождается только один. Для сего важнейшего предмета должно из мертвых воскреснуть или самому Марону, или прекрасному певцу поемы Петра Великаго.[5] Сие только безсмертным песнопевцам <довлеет?> восхвалить наследника духа Петра Перваго, а не мне.

Мне ли петь на тихой лире
Павла Перваго в порфире,
Коего обнимет свет?
Лишь безумец зажигает
Свечку там, где Феб сияет, —
Бедный чижик не дерзает
Петь гремящей Зевса славы,
Он любовь одну поет.
С нею в рощице живет.
Блеск Российския державы
Очи бренные слепит. —
Там на первом в свете троне
В лучезарнейшей короне
Первой Павел возседит,
Правит царств судьбами,
Правит миром и сердцами,
Скиптром счастие дарит.
Взором бури укрощает,
Словом милость изъявляет
И улыбкой всех живит.
Что Монарху моя ода,
Он есть царь, краса всего.
Гром побед, его народы,

[5] Имеется в виду «Петр Великий» — героическая поэма М. В. Ломоносова, впервые опубликованная в 1760 г.

Похвала дела его.
Им дивяся умолкаю
И хвалить позабываю.[6]

И так за что ни примусь, на что ни посмотрю, что ни воображу, то все велико и силам моим не соразмерно, или, смотря по обстоятельствам, опасно и страшно для меня представляется. — Несчастливо новое перо мое. — Видно, что я ныне сел за него, не перекрестясь, не <благовидно>, не в добрый час. Потерплю, подожду, посмотрю, не будет ли голова моя завтра или послезавтра <веселее?> — чище и легче. Час на час не приходит. Иногда и в оный час сделаешь больше, нежели в пять или шесть часов в другое какое-нибудь время. Если кто хочет пером хорошо владеть, тот должен приниматься за него, когда душа спокойна (Л. 41—43).

Не гожусь я быть секретарем, вот что говорят обо мне

Сии слова держат за уши меня, и добро бы так... Они пронзают душу мою. — Когда учил я еще аз, и буки, и старинный юс, хвалили меня. Когда сидел я за часовником, также за успехи мои хвалили меня. Когда я принялся за гусли Давидовы, и бряцал на них *<1 сл. нрзб.>*, почти без всякого руководства учителя моего, и тогда похвалами не обходили меня. Когда учился еще перо в руках своих держать и им переводить русскую всю азбуку на бумагу свою, восхищались от радости родители мои: и вот с которого времени маленьким переводчиком стал я слыть. Когда я стал писать склады, и писал их месяц и другой, и третий, писал уже, могу сказать, так, что все руке моей дивились. Принялся я за бе, це, де и далее, и тут меня, как осьмилетнего еще мальчика, по головке все гладили. — Дали, наконец, мне в руки и Лебедеву грамматику[7] — тут я маленько сперва позаартачился, да и не удивительно, ибо я Дубенского,* а не Тулусканского**[8] климата. Матерний

---

[6] На л. 44 имеется примечание: «Сей <листок?> мной найден между бумагами моими <сего года> ноября 6 го дня. Сочинен в самый первый день вступления на высочайший престол его имп. величества». Текст является переделкой стихотворения Н. М. Карамзина «Ответ моему приятелю...» (1793).

[7] Имеется в виду одно из изданий «Краткой грамматики латинского языка» в переводе В. И. Лебедева (в 1762—1792 гг. выдержала 7 изданий).

[8] Звездочками выделены места, снабженные примечаниями автора: *«Родина моя есть село, называемое Дубенское устье, где Дубня река впадает в Волгу»; **«Тулускан есть покойная деревня, в которой Цицерон иногда живал и писал философические сочинения свои»; ***«Словесница» — риторика.

язык с млеком еще матерним в себя всосал, а к другому со временем и с не малыми трудами привыкал. Так говорю и не хочу греха таить, что позаартачился было тогда сперва, всегда и все начала обыкновенно бывают с трудностями сопряжены. — Потом, как стал я вникать в нее, почаще заглядывать в нее, учить и твердить ее, иногда, по детской моей резвости, и физически страдать за нее, не в долгом времени вся грамматика моя сделалась для меня, как Отче наш или Помилуй мя, Боже. Не более у меня протекло времени от а, б, це и де до Словесницы,*** как три года *<1 сл. нрзб.>*. Поспешность моя заплачена была мне четырехлетними задержками в латинском и российском краснословии. Одиннадцать лет мальчику, да еще дубенскому, деревенскому, не весьма, на первый случай, заманчиво вдруг знакомство с Виргилием или Горацием, с Цицероном или Плинием. Год *<1 сл. нрзб.>* я сидел тут, как куколка. Однако твердо учил свои уроки и <привыкал> к сочинению периодов и других всяких малых и пространных риторических и пиитических упражнений. На третий год, как на том, так и на другом языке, имел я похвалы смешанные, положительные и превосходительные, а на четвертый одни уже превосходительные. Здесь должен я мимоходом принести короткую жалобу на природу мою, лишившую меня дара к стихосложению. Любил я лирические творения не в Фивах, но в Колмогорах рожденного Пиндара и Северного Расина и других в сем роде соотечественников моих.[9] Любил я также Гомера и Виргилия, Горация и Овидия и Вольтера в французской его «Генриаде», но любил я только читать творения их, а не сам писать. — Далеко тонконогому журавлю равняться полетом своим с бойкими соколами и с высокопарными орлами. Правда, и я писал стихи и басенки, но стыдом меня ныне покрывающие. Начал писать басню (о содержании ее не упомню я теперь) загремел так:

Плыла чрез реку велика собака,
Она же и была великая кусака
. . . . . .
. . . . . .

Я о сем гнусном литерерстве своем и забыл было ныне, ибо тридцать лет тому уж назад прошло, но один искренний мой друг, любя меня, вспомнил мне об них. Я подлинно не стихоткач. Но в сем случае прекрасно защищает меня ученейший <мудрец?>, говоря: Oratores fiunti, poetae nascunfur. Ораторы делаются ораторами, а стихотворцы раждаюся стихотворцами.[10] Я не родился

---

[9] Речь идет о М. В. Ломоносове.

[10] «Мудрец» — Цицерон, автор цитируемого афоризма.

стихотворцем. — Так как же мне быть стихотворцем. Чего природа мне не дала, того взять негде. И напротив того, чем кого природа одарила, того никто отнять не может. — Но при всех сих каких-либо упражнениях моих в классе реторическом, учился я также греческому и французскому языкам и вообще всей истории. На шестнадцатом году введен я в торжественный храм любомудрия, где и говаривал, во время обыкновенных состязаний, в присутствии знатнейших посетителей философические речи и диссертации, с первою похвалою, которые и ныне еще у меня хранятся. — Осьмнадцатый год под руководством некоего отца учителя провел я во внутреннем святилище Бога. *<1 сл. нрзб.>* Каковы были успехи мои и во время сие, доказательством может быть мне то, что я, не окончив еще богословского <учения?>, и из тридцати семи студентов богословия, сделан один, на девятнадцатом году жизни моей, учителем первого и высшего латинских классов и географии и в то же самый год учителем латинского и российского красноречия, с препоручением мне публичного преподавания истории и обучения французскому языку. На двадцать третьем, двадцать четвертом году учил я не учеников, а детей моих мирскому и христианскому любомудрию, которые оказывали препохвальные успехи во время публичных словопрений.

Все сие погрузил бы я в летейских водах, оставил бы в обычном мраке, или все то, что написал, тотчас бы предал пламени, если бы злодеи мои жалом своим не поощрили меня к сему. — Какая мне нужда себя хвалить? Я знаю, что собственная похвала есть похвала смердящая. Я себя отнюдь не хвалю. Если я что и пишу, то пишу единственно на тот конец, чтоб мне домашним образом, во время скуки своей, утешить себя и чтоб вспомнить о тех *<1 сл. нрзб.>* обстоятельствах моих, когда я во всех местах, в которых был, имел принадлежащее мне всегда первенство и заслуживал себе от *<1 сл. нрзб.>* честь, любовь и похвалу. — Везде дарования мои были во уважение, кроме только здешнего места. В здешнем месте вот что говорят обо мне: не гожусь я быть секретарем. — Почему же так, я сам себя спрашиваю? Я сам собою думаю: употребления здравых чувств, кажется, я еще не лишен. Мне не надобно очков для разбирания бумаг. Я вижу и без оправленных зеркальцев сих, как люди, не имея собственного своего ума, дышат и живут всегда *<1 сл. нрзб.>* бумагами, выдавая за собственные свои. Повторения в приказаниях не любят уши мои. Довольно для них произнесенного слова один раз. Рука моя на бумаге не скользит, перо не скрипит, не оглядывается во все стороны, не задумывается, не путается, не шатается, не правит по три раза написанных одних каких-нибудь трех строчек. *<1 фр. нрзб.>*

Понятия мои, какими угодно было Промыслу меня одарить, хотя не велики и не завидны, но довольны к разумению истины от лжи. Я умею, как кажется, написать приказную, но не на ябеде основанную бумагу, разложить и связать ее надлежащим образом, дать ей вес и цену приличными ей законами и расцветить ее, смотря по обстоятельствам, белыми или черными красками. Так почему же не гожусь я быть секретарем? Или секретарство есть отличный какой-нибудь дар. Секретарь не стихотворец, не рождается веками или с секретарским даром. Природа обидела меня, как я выше сказал, в даре стихотворства, а не в даре секретарства. Секретарство есть навык один, да и то малым еще трудом приобретаемый. Почему я не гожусь быть секретарем? Я прежних способностей своих не лишился, не сошел с ума. Почему же я не гожусь... — Разве кто здесь искушал способности мои, измеривал мой ум, весил мои силы, мои движения, мои расположения. Но испытания сего никто не делал надо мною. Почему же я не гожусь... — Потому ли, что я стар, как брешут некоторые. Но мне лишь только сорок лет. В сорок лет человек не есть такой остарок, который не годился бы ни для какой должности. Люди ворочают и не секретарскими делами в восемьдесят лет и более, а сорок лет что такая за неспособная старость, что за фигура, что за диковина. Почему я не гожусь секретарем-то быть?..

О, какая таинственная каббала секретаря перо! О! какая непостижимая мудрость управляет криводушными секретарскими чертами и особливо в том месте, где почти никакого не требуется ума, где одна только должна быть механика в голове и где все делается механически!

Нет, нет, вижу, вижу... причины тому не неспособности мои и не старость моя, но ядовитая человеческая зависть приказная, честолюбие секретарское, коротко: фу, фръ, еръ, еры, я — я-то экой радымакер,[11] <я-то быв, один секретарем, я то бы один умом своим, которого, кроме хитрости, никакого нет, славился?>. Я то бы один был уважаем, почитаем и одобряем. Я то бы в год по шестисот рублей жалованья получал. О, проклятые слова, я-то, я-то этакой радымахер. Но кто такой я-то. А если *<1 сл. нрзб.>* какая-нибудь *<1 сл. нрзб.>* белобокая сорока, которая, ухвативши носящемо бурею перо на воздухе и приделавши его на кохти свои, умела влететь в открытое окно, сесть на стуле и за красное сукно и сим самым пером не законы подставляет, но бумагу секретарскую только гадит и марает. Я то экой радымахер! Какой хаос! Какое явление! Какое превращение! — Назон! Оставь мрачные свои тени, приди к нам, посмотри на нас, очини свое

---

[11] «Радымакер» и ниже «радемахер» — от нем. «Rademacher» (гравер).

перо. — Сороки, галки, *<1 сл. нрзб.>*, хамелеоны, слоны, тюлени и пиявицы, чу... чушь.... фар... фарда... шебарда... и хаварда, правят перами, закрепляют листы, дуют, *<1 сл. нрзб.>* пыхтят, кряхтят, ломаются, коверкаются, зевают *<1 сл. нрзб.>* и потягиваются с утра от *<1 сл. нрзб.>* ночного кавардака, вовсе на тот час забыв на столе крючкотворное свое перо! О, *<1 сл. нрзб.>* одни крылатые да четвероногие, крылатые да четвероногие. Так вот почему и не гожусь-то я секретарем-то быть! (Л. 55—57 об.).